

А. И.
КУПРИН

Избранное



Мыс Гурон

Александр Куприн

Сильные люди

«Public Domain»

1929

Куприн А. И.

Сильные люди / А. И. Куприн — «Public Domain», 1929 — (Мыс Гурон)

«Четыре часа свежего розового утра. Я вижу из открытого окна, как выходит на добычу одна из моторных лодок, принадлежащих рыбакам. Слежу ее путь. Вижу, как она остановилась и как через ее накренившийся борт шлепается в море якорь, огромный камень. И тотчас же, медленно подвигаясь, начинают рыбаки «сыпать сети». Поплавок за поплавком ложатся ровно на воду, обозначая тонким четким пунктиром правильную линию...»

© Куприн А. И., 1929

© Public Domain, 1929

Александр Иванович Куприн

Сильные люди

Четыре часа свежего розового утра. Я вижу из открытого окна, как выходит на добычу одна из моторных лодок, принадлежащих рыбакам. Слежу ее путь. Вижу, как она остановилась и как через ее накренившийся борт шлепается в море якорь, огромный камень. И тотчас же, медленно подвигаясь, начинают рыбаки «сыпать сети». Поплавок за поплавком ложатся ровно на воду, обозначая тонким четким пунктиром правильную линию. Потом другой камень-якорь и крутой поворот под безукоризненно верным прямым углом, и еще раз, и еще, и вот я вижу удивительную трапецию из черных точек на фаянсово-блестящей синеве моря, трапецию, от изящества которой придет в восторг самый строгий геометр. И какое меткое выражение «сыпать сети».

Это искусство кажется издали совсем пустячным, однако оно дается годами упорной, постоянной работы. Нет. Вернее сказать: оно наследие тысячелетнего опыта далеких предков.

Почти во всякой вольной работе на чистом воздухе есть своя точность в простом свободном движении, свой ритм, своя красота и своя безусловная грация. Мало кто обращал внимание на то, например, как потомственные огородники и садовники «пикируют» молодые растения, то есть пересаживают из парника в грунт. Надо поглядеть на щегольскую аккуратность их грядок и на математическую стройность, с которой они, без помощи линейки или нити, вытекают осторожно в эти гряды, ряд за рядом, нежные хрупкие ростки.

Видели ли вы, как зимою, в лесу, распиливают на доски продольные пильщики огромные сосновые бревна вершков двенадцати – шестнадцати – двадцати в поперечнике? Бревно положено на высокие козлы. Вверху на бревне стоит старший пильщик; внизу, под бревном на земле, – младший. По этому расчету можно судить, как необыкновенно велика продольная пила. Пилят они ритмически, то сгибаясь, то выпрямляясь, поочередно. Верхний движется вперед, едва заметно, по-медвежьи переступая ногами в мягких лаптях, нижний – пятится задом, причем его голова, лицо, борода и вся одежда сплошь засыпаны желтоватыми древесными опилками. В этой работе все удивительно: и, больше чем цирковая, ловкость старшего, безупречно балансирующего по круглой поверхности, и терпение младшего, и сверхъестественный глазомер обоих, и замечательная точность и гладкость их распилки – куда машине, – и ловкость и непринужденная гибкость их движений.

Работа их весьма тяжела: это правда. Минут через десять после начала они сбрасывают с себя зипуны, потом поддевки, потом жилеты и остаются в одних ситцевых рубахах. Мороз, хотя и небольшой – пятнадцать градусов, – но продольным пильщикам жарко, они вспотели, и белый пар валит с них, как от почтовых лошадей. И, как лошади, ржут соседние пары, когда кто-нибудь рядом запустит крутое соленое словцо. Они никогда не простуживаются, никогда не знают усталости, вид у них всегда бодрый, крепкий и веселый, походка грузна, но легка, точно у медведя, а каждый мускул и нерв слушаются их воли мгновенно. Их труд свободен – они не знают над собою ни погонщика, ни указчика, ни советчика. Прежде чем приступить к работе, артельный староста – суровый, но милостивый диктатор – долго, зуб за зуб, торгуется с хозяином: по сколько с хлыста (хлыст – каждое прямое дерево) в зависимости от его диаметра и по сколько за каждую доску такой или иной ширины и длины. А уже после рукобития и литок артель вникала в работу с той яркой жадностью, какая была всегда свойственна бережливому скопидому, русскому мужику-собственнику.

В еде себя не урезывали. Харчились за плату у тех же лесников, у которых и ночевали безвозмездно. Тогда бывало жутко и подумать, какое мотовство: на своих чае-сахаре артель платила за обед и ужин, страшно подумать, по полтиннику с едока! В то время, в 1897 году, полтинник за целый рабочий день считался высокой ценой, а в городских трактирах за десять

копеек подавали жирные щи с убоиной и хлеба – сколько съешь; ломоть жареной печенки стоил две копейки и копейку на чай. «Шестерка» низко кланялся, подметая грязной салфеткой пол.

Ну и ели же продольные пильщики...

Ели истово, медленно, в молчании (шутки полагались только в конце обеда, за пузатым самоваром). Ели так, что радостно на них было глядеть, несмотря на то что рассудок опасливо беспокоился за их утробы...

И все-таки я услышал, как однажды днем, в отсутствие артели, Марья, жена лесника Егора, пиявила мужа:

– Ты уж, Егор, там как хочешь, а я в будущий год харчить твоих продольных пильщиков не согласна. Больно емкие. Люты на еду.

Вот вам и начало той свободы, того веселья и той размашистой красоты, с которыми ходят и работают продольные рязанские пильщики: первое – сыты; второе – работают только на себя: больше распилят хлыстов – больше получают; третье – труд их протекает весь день в лесу, где только сосна и снег; и последнее, – но оно же и главное, – честь и репутация артели. Та артель, о которой я говорю, артель Артема Ванюшечкина, славилась не только в Рязани, но и среди крупных московских лесопромышленников. При такой лесной известности как же можно лицом в грязь ударить? Да и зарабатывали они по три целковых в день.

Я прошу у читателей прощения в том, что мой скромный рассказ невольно выпучился далеко в сторону, в милую северную страну, хотя, наверное, в ней уже давно продольные пильщики вывелись из быта в расход. Что поделаешь?

Маленькие буржуи! Кулаки!

Конечно, нигде так ярко не проявляется естественная красота человеческого тела и его движений, как в национальных танцах и играх, пока они не обездушены пародией и модой, да еще в деловом обиходе морских людей.

К счастью, притворяться таким старым, просоленным всеми ветрами мореходом можно только на суше. Тут все проглотят доверчивые люди: и хриплый от команды голос, и походку раскорякой, и вечную короткую трубку с крепчайшим табаком в углу рта, и поминутные плевки за воображаемый борт, и рассказы о свирепых тайфунах в Индийском море или о безумно отчаянном повороте на байдевинд, когда шхуна чуть не налетела на неожиданный коралловый риф. Его слушают развеса уши.

Но стоит такому отважному морскому волку очутиться хотя бы на палубе парохода, идущего только от Одессы до Ялты, как морской волк быстро превращается в мокрую курицу. Это еще не беда, что его начинает тошнить уже в гавани. Настоящие моряки к этой слабости относятся более чем снисходительно.

Ведь известно, что самого великого, величайшего из адмиралов, Нельсона, укачивало даже при легком шторме и что в морской битве при Трафальгаре Нельсон до такой степени страдал морской болезнью, что велел привязать себя к мачте, и так стоя командовал всем флотом и выиграл бой. Беда в том, что сухопутный моряк подвержен самой трусливой мнительности. Он приходит в ужас, когда судно замедлит или ускорит ход, или когда оно дает своим ревуном сигнал далеко мимо проходящему кораблю, или когда винт, выйдя на волне из воды, вдруг застрекочет сухо. Он заранее выбирает для себя спасательный пояс и шлюпку на случай крушения. Он лезет со своими страхами, опасениями и мрачными предположениями решительно ко всем: к пассажирам, лакеям, горничным, он подымет за советами и утешениями даже к дежурному помощнику капитана в священную рубку, и молодой моряк, быстро спроваживая его вниз, на палубу, ощупывает свой правый задний карман брюк и думает: «Вот за такими надо внимательно следить. Если, спаси бог, случилась бы катастрофа, первые они мастера возбуждать панику».

Но пристальный взгляд пассажира, часто и далеко плававшего, или мгновенный взгляд опытного морехода всегда сумеют отличить настоящего моряка от самозванца. Здесь есть ряд примет более или менее объяснимых. У пожилых, очень многое в жизни испытавших капитанов, навсегда остаются в лице и в фигуре знаки воли и власти. Их глаза под тяжелыми веками чуть прищурены: это глаза людей, привыкших подолгу и напряженно вглядываться в даль. В их легких морщинах на висках и вокруг глаз, а особенно в улыбке чувствуется не то спокойное усталое презрение, не то снисходительная ирония.

Молодые высокомерные офицеры, старые сутулые матросы, бочкообразные боцмана и стройные юнги имеют также свои особые явные и тайные приметы во взглядах и движениях, в постановке головы и в походке. Но уловить их – дело навыка и инстинкта. Интереснее всего следить за моряками во время серьезной и спешной работы в море. Вот где соединяются сила и ловкость, спокойствие и быстрота, суровая дисциплина с внешней беззаботностью, где краткий приказ влечет мгновенное исполнение и где вся кипящая жизнь переполнена суровой, простой, не создающей себя красотой.

Подобно тому как на моряках, так общий профессиональный отпечаток лежит и на рыбаках – не скажу всего мира, но, по крайней мере, всей белой расы. Недаром давным-давно и очень метко сказано: «Рыбак рыбака видит издалека». Конечно, в каждой стране есть своеобразные обычаи и приемы, но есть и много общего: беспечность, простодушие, приметы, суеверия, предрассудки, зоркая наблюдательность, острое чутье к погоде, щедрость к бедным, разгул в кутеже и прочее... Замечательно одно явление: все рыбаки – страшные ругатели и богохульники, но все они одинаково почитают святого Николая-чудотворца, и все они убеждены, что их промысел самый святой, ибо Иисус Христос избрал своих первых апостолов из среды рыбаков. С ними могут соперничать лишь плотники, по той причине, что отрок Иисус учился плотничьему мастерству у святого Иосифа, да еще пасечники, потому что восковая свеча горит перед святыми алтарями.

Когда-то, давным-давно, так давно, что теперь мне порою кажется, будто это было, по ядерной русской поговорке, «в те времена, когда люди еще топоров не знали, а пальцем говядину рубили», – полюбились мне каждую осень до ранней зимы болтаться с балаклавскими рыбаками по Черному морю.

Был я тогда еще молод, достаточно силен и вынослив, мог грести без усталости и умел, еще по военному навыку, беспрекословно подчиняться приказанию старшего на баркасе. Вскоре балаклавские рыболовы со мною освоились и как бы усыновили меня. Я до сих пор горжусь тем, что иногда, в полосы обильных уловов, когда не хватало рыбачьих рук, ко мне приходили с просьбой войти в артель. Я с удовольствием входил. По окончании ловли мне за это полагался один пай, а когда я завел трехстенные сети, так называемые «дифаны», то и два пая: один за греблю, другой за снасть. Там пай распределялся строго: атаману два пая, владельцу баркаса один, владельцу снасти – один, рядовым работникам по паю. Сообразно с этим и делили выручку. Я свою долю не брал, а если случался хороший улов, то во славу его вел всю артель в кофейню Юры Капитанаки и угощал ее черным кофеем (две копейки чашка), а в случае же улова превосходного – даже с сахаром (три копейки).

Милые мои греки от удивления перед таким кутежом значительно почмокивали и показывали головами, и я думаю, они считали меня за человека не совсем нормального. Однако же один из участников южной белой армии передал мне недавно, что при крымской операции довелось ему попасть в Балаклаву и там старый седой рыбак, Коля Констанди, мой бывший строгий учитель и суровый атаман, вспомнил в разговоре мою фамилию. Эта честь меня глубоко тронула.

Мы рыбачили разными способами в юго-западном углу Черного моря, между мысами Херсонес, Фиолент Саленгос, Кристи, Айя, Ласпи и Форес. Мы ловили камбалу, глосов, камсу,

морского петуха, скумбрию, кефаль, лобана, барабулю и однажды случайно поймали полуторапудового белужонка на перемет для камбалы. Глубокою зимою не редкость вытащить белугу в десять пудов весом, а значительно реже попадаетея белуга и до сорока пудов.

Но на эту зимнюю ловлю мне ни разу не приходилось выходить.

Я думаю, теперь понятно, с каким нетерпением и с какими великими надеждами ехал я на юг Прованса в Ля-Фавьер, в милую для меня теперь, издали, рыбацью хижину на мысе Гурон. По прежним воспоминаниям мечтал я, что есть у меня какое-то рыбье слово для рыбаков и что совсем не трудно мне будет освоиться с провансальскими рыбаками, ибо души всех рыбаков одинаково несложны и широко открыты.

Увы! Я не учел того, что, кроме рыбацких жестов и приемов, кроме магнетического взаимного тяготения рыбацких сердец, существуют еще два разговорных языка, совсем неизбежных для первого знакомства, но и совсем не похожих один на другой: провансальский и русский. Да ведь и надо, пожалуй, с огорчением признать и то, что с годами и с жестокими испытаниями судьбы вянет и потухает в человеке дар того бескорыстного, инстинктивного очарования, которое столь легко и весело сближает людей... Спрашивается: какими же путями мог бы я наладить связь с местными рыбаками? Русские обитатели с ними знакомства не водили; не интересовались. Правда, еще в Париже слышал я об одном русском молодом человеке, который сумел пленить души ля-фавьерских рыбаков и заключить с ними тесную морскую дружбу. Был он родом из Сибири, и, конечно, его, как почти всех сибиряков, звали Иннокентием. Провансальские рыбаки называли его фамильярно и ласково: Innocent. В этом названии есть двойной смысл; если его употреблять с большой буквы – получается почтенное христианское имя, а если с маленькой, то выходит нечто вроде как «простака, или «рубаша-парень», или еще – «малый-простыня». И правда: был он всегда добродушен, ровен, ласков со всеми, радостно готов на товарищескую услугу и, кроме того, оказался настоящим соленым моряком, способным на все роды ловли, неутомимым, смелым, находчивым и со счастливою рукою. Рыбаки искренно к нему привязались и возлюбили его. Эти люди сурового и тяжелого промысла, в котором нет ни капли лжи, обладают тонким и дальним чутьем на того двуногого, чье имя «человек» пишется с большой буквы, и невольно тяготеют к нему.

Но, к своему и моему огорчению, этот милый Иннокентий, или Кена, как звали его дома, вскоре был принужден оставить свои прекрасные морские приключения. Причина этому была очень простая и очень настоятельная. Кому не известно, как широко гуляют рыбаки всех стран и всех морей; гуляют и на радостях после большого улова, и от огорчения за неудачу. У Иннокентия же был в гульбе размах особенно широкий, сибирского стихийного размера. Сам он совсем ничего не пил, но без счета поливал шампанскими пронзительные «буйабезы», которые по ночам при свете костров варились на безлюдных маленьких островках. Словом, прожился вдребезги милый Иннокентий Алексеевич. Конечно, он мог бы поступить в рыбный кооператив, его приняли бы охотно, но где же свобода? Итак, простившись без вздоха с друзьями-рыбаками, он бросил рыбацью увлекательную жизнь и теперь где-то в департаменте Вар, в никому не ведомом Ля-Фугассе, режет, поливает, взрыхляет и опрыскивает виноградники. Конечно, Кена когда-нибудь вернется снова к морю. Кто знал однажды прихоти моря, его чудеса и радости, его гнев и сладкую ласку, тот уже пленник моря навеки. Оно притягивает к себе моряков, как луна влюбленных. Недаром море и месяц – близкая родня друг другу.

А я пока что потерял умного проводника и руководителя. Вот и осталось мне только одно сомнительное удовольствие: глядеть из окошка на рыбную ловлю.

Что говорить! Очень хороший народ провансальские рыбаки: красивые, стройны, ласковы, ловки, мужественны. Но гляжу я на них из моего окошка, вспоминаю далекое-далекое прошлое, ревниво сравниваю славных провансальских рыбаков с моими балаклавскими

листригонами, и – что поделаешь – сердце мое тянется к благословенному Крыму, к синесинему Черному морю.

Пусть я – человек отсталый, но вот не нравятся мне моторные лодки – и конец. Какая прелесть были черноморские парусные баркасы или турецкие, банабакские фелюги! Как изящны были плавные изгибы их линий! Как сладко и весело волновал сердце момент выхода в открытое море! Полощется, и трепещет, и хлопает парус, беспокойно отыскивая ветер. Нашел – и мгновенно со звуком лопнувшей струны весь наполняется ветром и становится во всей своей белизне и благородной выпуклости похожим на божественную грудь молодой прекрасной женщины.

Баркас накренился набок. Журчит вода под килем. Пена плещет через борт.

Дрожит туго натянутый шкот, рвется вперед парус. Баркас живет всем своим телом и нервами. Он одушевлен.

А в моторной лодке нет души. Только воняет бензином и в своем противном стрекотании подражает цикадам. Море же не любит ни свиста, ни праздного шума.

Во мне говорит завистливое чувство, подобное тому, какое испытывает мальчишка, которого не приняли в игру. Замолкаю. В будущем году осенью поеду на мыс Гурон (если доживу) и свяжусь с провансальскими рыбаками. Они милые, добрые и сильные люди.